

---

Источник: Чехов А. П.

Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Тома четырнадцатый – пятнадцатый. Из Сибири. Остров Сахалин. (1890 – 1995). – М.: Наука, 1987.

---

I

– Отчего у вас в Сибири так холодно?

– Богу так угодно! – отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

– Из какой губернии?

– Из Курской.

Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяге; под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чувствительный к холоду, равнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах как играл! Но вот брат продал избу, скот и всё хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет – деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русской бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скarbом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: "Я уже смирился". В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

– Хуже не будет! – говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

– Хуже не будет!

– Будет хуже! – говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-непереселенец с острым взглядом. – Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звения кандалами, идут по дороге 30 – 40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади – две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего – бледное, истощенное и серьезное лицо,